



УДК 303.442.23, 303.686.2, 316.343.37

## Хронотопы посткрестьянской автобиографии

И. П. Басалаева

*Новокузнецкий институт (филиал)  
Кемеровского государственного университета, г. Новокузнецк*

В статье анализируются нарративные образцы конструирования посткрестьянской автобиографии, в числе которых клише официальной советской автобиографии, волшебная сказка и роман воспитания.

**Ключевые слова:** автобиография, посткрестьяне, нарратив, социальная история.

Жизненный опыт рожденных в 1920-е гг. крестьянских детей оказался травматическим в силу целого ряда исторических обстоятельств. Наше внимание сосредоточено на пережитом этим поколением «разрыве» идентичности, регистрация различных измерений которого располагает к использованию термина *посткрестьяне*. Этот термин постепенно занимает свое место в аппарате современной социальной истории и социальной антропологии (преимущественно европейских). Понятие *посткрестьяне*, или *до-рабочие* (*post-peasant, pre-worker*) было введено в начале 1970-х гг. И. Маркусом [8] с целью описать социоструктурные изменения в послевоенной Венгрии. Тогда же И. Кемени начал писать о *новом рабочем классе*. Оба понятия фиксировали макросоциологические параметры трансформации восточноевропейских социалистических обществ, происходившие под влиянием коллективизации, индустриализации и урбанизации. Переходный характер таких обществ был очевиден: об этом свидетельствовали принятые в них организация домохозяйства, структура потребления и занятости, устройство систем социального господства, способы коллективного действия, пространственная сегрегированность расселения и т. д.

Термин *посткрестьяне* сконструирован в логике экономико-социологической интерпретации социального мира, и в этом его ограниченность для использования в целях социально-антропологического анализа. Как и исходное понятие *крестьяне*, он встроен в историософскую схему, основанную на универсалистских, эволюционистских и прогрессистских концептах. Но, переосмысленное или переименованное, это понятие необходимо в сфере изучения ментальных и поведенческих аспектов крестьянского опыта во всех его переходных формах, которые конституируют культурную асинхронность социальных горизонтов одного (но не единого) общества. Терминологические поиски привели к выработке номинаций «предгорожане», «урбанизированные крестьяне», «советские горожане в первом и втором поколе-

нии» и др. Для идентификации того общего, что держит на себе различия социальных миров России царской и России советской, В. В. Бабашкиным в свое время был предложен термин *крестьянственность*. Однако данная область крестьяноведения только начинает оформляться в отечественной гуманитаристике.

Настоящее исследование базируется на гипотезе, согласно которой экзистенциальный надлом у миллионов русских людей в XX в. был обусловлен девальвацией традиционных форм и моделей самоидентификации, что в свою очередь потребовало от социальных акторов поиска компенсаторных процедур смысловой регенерации образовавшегося поколенческого разрыва. Одним из инструментов реконструирования идентичности стала ретроспективная «сборка» жизненного опыта в ходе создания различных повествований, хотя подавляющее большинство выходцев из крестьян так и не нарушили предписанной им социальной немоты и сохранили статус «молчащего сословия».

Образец такой работы – автобиографию «Мое детство. Воспоминание» – оставил Петр Петрович Чешуин (1925–2002), уроженец деревни Верх-Коптелка<sup>1</sup> Алтайского края, получивший 7 классов образования и гражданскую специальность газосварщика. Автор прошел Великую Отечественную войну, после демобилизации в 1950 г. до конца своих дней жил в г. Прокопьевске Кемеровской области, работал на шахте. Рукопись хранится в семейном архиве внучки П. П. Чешуина О. А. Илюшиной (г. Новокузнецк). Описывать прожитую жизнь автор начал на седьмом десятке, что устанавливается по датировке тетради и чернил; текста он не завершил. На финальных страницах повествование переходит к событиям, во время которых Петру Чешуину было уже 25 лет (текст заканчивается после описания долгой дороги автора к могиле матери). Фрейм детства в этих воспоминаниях – ключевой, поэтому не исключено, что импульс формализации памяти иссяк у него вместе с исчерпанием заглавной темы.

Текст, несмотря на относительную краткость, представляет собой целый мир, дающий исследователю материал для выявления серии тематических горизонтов. Он информирует нас о способах моделирования времени переходным сознанием, допускающим инклюзии исторической хронологии в традиционные системы отсчета; о крестьянской педагогике; о деформациях традиционной системы семейных статусов; о трансформировании религиозности и о функциях религиозной риторики в автоконструировании истории жизни *советского человека*; об «отраженной» рецепции идеологических норм крестьянским сознанием; о действенности «оружия слабых» – тактик сопротивления принудительным мобилизациям; о роли телесных метафор в описании экзистенциального опыта *посткрестьянского* поколения и о других сюжетах, важных для понимания социальной динамики XX столетия.

Нас интересует устройство предпринимаемой посткрестьянами работы нарративного самообоснования в автобиографии. Примечательно, что этот

---

<sup>1</sup> В официальных документах П. П. Чешуина (паспорт, трудовая книжка) встречаются два варианта написания: Верх-Коптелка и В.-Коптевка.

жанр был чрезвычайно востребованным в реестре легитимных советских способов рассказа о себе. Формализованная бюрократическими стандартами рамка конструирования собственного жизненного пути была нацелена на идеологическую унификацию прожитого опыта и на снятие спонтанных ситуаций «поиска себя». По меткому замечанию А. Согомонова, индикатором личностной бессмысленности такого автобиографического нарратива являлось то, сколько раз в году советский человек к нему вынужденно обращался [7]. Понимание себя в подобной псевдореклексивной рамке исключалось, будучи замененным дисциплинарным письмом: так пойэзис редуцировался до игры репрезентации по правилам идеологии.

Любопытный образец деконструирования канцелярского трафарета, нужного лишь для нахождения инициальных фраз, находим в тексте автобиографии Е. С. Поповой (в замужестве Савельевой), написанном в 1976–1977 гг. Автор – еще одна представительница «урбанизированных крестьян» родом из Алтайского края (текст хранится в семейном архиве новокузнецчанки А. С. Амлиной, правнучки Е. С. Поповой. Тетрадь с рукописью А. С. Амлина получила в подарок от своей прабабушки в 2006 г.). Текст начинается так:

*Автобиография Поповой Елизавете Семеновне [рожд. 1917 г.]<sup>2</sup>*

*Отец мой крестьянин рожд. Воронежской обл. Попов Семен Никитович служил в армии 5 лет много рассказывал о своей службе. Был на <гражданской><sup>3</sup> войне 1914 г. где и был ранен в руку есть сохранилась фотогр. Переехал жить в Сибирь [Алт. кр. Косихинский р-н с. Лосиха]. Когда и как я этого не помню. Первая жена умерла после родов и ребенок [умер]. Женился 2ой раз. Из села Сохорево в 10 кл. от Лосихе Чувашиевой Пелагии Гурьяновне. И вот народилась у них дочь первая назвали ее Елизаветой в 1917 г. 20/х. Это я пишу о себе что помню по рассказам мамы и сама что помню.*

Мы видим, как рамки бюрократического стандарта в первом же абзаце «взламываются» спонтанным письмом – но видим и то, как тут же вступает в дело самодисциплина автора, который спешит зафиксировать ускользающие в потоке человеческой речи уточнения официального характера (рождена тогда-то, место рождения такое-то – вплоть до сведений об административно-территориальном делении).

Рефлексия «по всем правилам» не свойственна крестьянскому габитусу, и все же образцы *наивного письма* поколения первых советских горожан говорят нам о том, насколько важной для них была письменная работа с собственной памятью. В тексте П. П. Чешуина с первых строк производится субъектность пишущего, а не воспроизводятся официальные клише:

*В жизни каждого мыслящего человека наступает время, когда он оглядывается на прошлое и спрашивает себя, чего же он стоит и в умственном и в нравственном материальном отношении. Это происходит тогда, когда бесрассудные юношеские порывы уже позади, и все к чему стремился и чего достиг, стонувится как бы неверным и не прочным, вот об этой непрочно-*

<sup>2</sup> В квадратных скобках приведены фрагменты, вписанные по готовому тексту между строк. В цитатах полностью сохранены авторская орфография и пунктуация.

<sup>3</sup> В угловых скобках приведено слово, вымаранное в тексте, но читаемое.

*сти хочется посветить свое описание детства. То детство которое может быть да с урок, пусть хоть и нетак будет написано, но это правда. Мне просто хочется вспомнить о совет деревне, на бугре, – речка в низу, она считалась небольшим населенным пунктом, но и веселым, прошло много лет, и она остается в памяти моего детства...*

Точнее, в этом автобиографическом интерьере почти с первых строк авторское Я обставляет себя иной повествовательной традицией, восходящей к романтическим формам. Это сознательное биографическое притязание. При всей этикетности зачина, продолженного более спонтанным и непосредственным «мне просто хочется вспомнить...», читателю ясно, что сквозь заимствованную, не особенно умело поданную риторику романа воспитания слышен живой голос не искусственного в грамоте, но мудрого и очень доброго человека, занятого труднейшей работой понимания себя. Автор вполне намеренно пробует свой голос и отдает себе полный отчет в серьезности предпринимаемого дела.

Мы располагаем фотокопиями трудовых книжек обоих *наивных авторов*, что позволяет сделать предположение относительно их столь различных практик обращения с общеизвестным шаблоном советской автобиографии. В трудовой книжке Е. С. Поповой (по всем документам Савельевой; манипулирование девичьей и «мужней» фамилиями имеет собственный смысл в прагматике этого текста) сделано девять отметок о смене места работы. Трудовой стаж был открыт 1 мая 1937 г. работой в «органах НКВД» без указания должности (из автобиографии ясно, что это была канцелярская служба в паспортном столе г. Сталинска, в отделе прописки трудящихся). Из текста также следует, что этой службе предшествовала работа рассыльной в горно, что в документах не отражено. Трудовая карьера завершилась 6 января 1985 г. в возрасте 68 лет увольнением с должности кассира в аптеке. Количество трудовых перемещений и самый характер работы Е. С. Поповой (Савельевой) располагали к более прочному усвоению советского жанра официального письма о себе, чем «иммобильная» трудовая активность П. П. Чешуина, десятилетиями трудившегося на одном месте.

Автобиография строится как нарратив испытания, причем сюжетобразующим началом выступает мотив пути (Об этом подробнее см.: [6]). В настоящей работе для нас центральным является вопрос о тех нарративных образцах, следуя которым *наивный автор* генерирует собственную историю жизни, а также о моделях текстуализации опыта. То обстоятельство, что таковые должны были быть, не подлежит сомнению: обретая собственный голос, пишущий ориентируется на известные ему культурные модели. Вопрос заключается в их корректном определении.

Один из образцов назван: это роман, причем влияние данной повествовательной формы, если следовать достаточно условному делению М. М. Бахтина, может быть усмотрено в отношении и романа испытания, и романа воспитания, и биографического романа. На следование беллетристическим канонам указывает склонность автора вводить в текст диалоги и прямую речь. Ограничимся поэтому констатацией влияния книжной традиции

на способ построения посткрестьянской автобиографии в этом конкретном случае, хотя установить круг чтения П. П. Чешуина не представляется возможным.

Еще одним нарративным образцом выступает волшебная сказка. Известная методологическая проблема всякого пишущего о собственной жизни – «кадрирование» пластов памяти – равно как и проблема «как начать», решаются П. П. Чешуиным просто и не без изящества. После краткой экспозиции – *дом у нас был хороший* и т. д. – следует сбивчивая диалогичность внезапной завязки:

*Спал я всегда на полатах, однажды вечером слышу крупный разговор. Отец ругается с мамкой. – Собирай все вещи! завтра уезжаем с соседом Пряженниковым, а тут пусть все забирает колхоз, как хорошо помнится, апрель м-ц. потому-что днем хорошо подогривало. Так за целый день были собраны кое-какие вещи, да и на одной лошадке много не увезешь, Ничего, поедим пораньше утречком – промолвил отец – пока дорога крепкая. Так первый путь. А впереди их еще очень много.*

Характерное сказочное «промолвил отец» еще встретится в тексте, здесь же отметим организацию повествования в определенном соответствии с «морфологией сказки». Логика разворачивания сказочного действия вкратце такова: обрисовывается исходная ситуация (перечисление членов семьи и т. д.), затем внезапно (немотивированно) наступает беда, которая до того уже сквозит в изначальном благополучии семьи; в действие вступает вредитель – тип героя волшебной сказки, результат действий которого осмысляется как недостача, убыток, ущерб. Структура сказки непременно требует, чтобы пострадавший герой отправился из дома. Его дальнейший путь представляет собой испытания, приуготовливающие его к обретению волшебного средства. Герой решает трудную задачу (и не одну, в соответствии с принципом эпической ретардации), начальная беда/недостача ликвидируется, герой обретает новый облик, вредитель наказывается и т. д. (мы перечислили некоторые из выявленных В. Я. Проппом функций волшебной сказки). В аналогичном ключе организуется и повествование нашего автора.

Влияние сказочного нарратива на структуру конкретного автобиографического текста не следует абсолютизировать, однако нельзя и исключать: фактология текста дает этому некоторые основания. Зимой 1941–1942 гг. Петр Чешуин с отцом, оба еще не призванные на фронт, работают в тайге «на бораке Кормак», вытесывают березовые болванки. Именно здесь разворачивается первая в жизни юноши «настоящая» работа, т. е. в коллективе, да еще в виде стахановского движения – при том что работа как таковая определяла канву его жизни с шести лет. В повествовании единственный раз звучит тема социальной иерархии:

*В этом бораке находилась отдельная комната, для стахановцев, вот в ней я и находился, в этой комнате на каждого был отдельный топчан с соломенным матрасом и соломенной подушкой, байковое одеяло. Посреди комнаты стоял общий стол для принятия пищи, и железная печка, – печку как мы считали – наша ударница. – она нам помогала, подогреть чай, по-*

*гредца вокруг ее – и послушать сказку, а сказки рассказывал дядя Рудометов, столько он их знал много хватало на всю зиму.*

Тональность эпизода о бараке ударников-стахановцев, поглощенных слушанием сказок (а вовсе не радиосводок с фронта или хотя бы политически выдержанных лекций), свидетельствует об эмоциональной отмеченности этого автобиографического «кадра». Его выделенность косвенно подтверждается тем, что в рамках «большого» исторического времени эта зима – первый тяжкий военный год. Но о войне в тексте ни слова. Сказано лишь, что ни радио, ни газет не было, а вся информация из внешнего мира ограничивалась «слухом с района». Комната стахановцев в натопленном бараке, где-то в заснеженной тайге, выглядит каким-то апотропеическим укрытием от ураганов истории. Рассказывание сказок долгими зимними вечерами играло компенсаторную роль, восполняя дефицит информации. Предсказуемыми сюжетными ходами сказок замещалась пугающая непонятность большого мира с его большими событиями.

Автор пережил разрушение исходной системы памяти своей исходной социальной группы («группы выхода»). Понимает ли он это, трудно сказать, однако очевидно, что не драматизирует. Примечательно, что понятие *семья* в его автобиографии ограничивается очень небольшим кругом лиц, вопреки традиционному представлению о системе воспитания в крестьянских семьях, где детьми занимались не столько родители, сколько бабушки-дедушки. Текст информирует о чертах выстраданной автором новой социальности, отличной от родительской, и это рассматривается им самим как опыт, подлежащий трансляции. По тексту рассыпаны оценочные суждения, дающие представление о нормативной шкале, в которой бегство отца от колхоза и мучительные поиски «нового жительства, нового счастья» в глазах девятилетнего мальчика выглядят хаотичными и непонятными, а прожившим жизнь мужчиной формулируются в виде риторического вопроса:

*Прошло много лет, я вспоминаю слова отца, – почему недано было богом – жить человеку так как ему вздумается? как ему хочется. Что это за проклятое счастье и где его можно найти!*

Очевидно, что способ жить «как хочется» является не столько результатом сознательного выбора, сколько принятием благословенного дара традиции. Именно традиция превратилась в другие берега. Понятие *коллективная память* было введено М. Хальбваксом в 1920-х гг. Если мыслить в этом теоретическом поле, то анализируемый текст манифестирует «прорастание» (*прозябанье*) культурной памяти из памяти миметической. Как известно, Хальбвакс выделял четыре «внешних измерения» памяти, в числе которых миметическая определяется кругом деятельности и не подвергается дискурсивной формализации: ей научаются через подражание как в ритуально заданном, так и в повседневном обиходе. Идентичность крестьянского мальчика, взрослеющего в ситуации разрушенных контекстов и каналов нормальной для его группы социализации, в ретроспективной рефлексии П. П. Чешуина конструируется путем описания разных работ, которыми он занят; пожилой автор автобиографии называет их «профессиями» («при переезде был куче-

ром», «отец стал учить новому ремеслу – быть охотником», «оказался заготовителем по дровам», «вошиком», «тесаком», «хорошим рабочим специалистом Стахановцем», «переправщиком» и т. д.<sup>4</sup>):

*...Работать, учиться, токого знания уже не получиш ка в школе за партой, жизнь миня учила понимать другую школу – школу жизни, школу горючего испытания.*

*Вот эта была школа: ловить кротов, ловить зайцев, ловить рябчиков, выгонять деготь, тесать болванку, косить сено, плести лапти, быть поберишкой много и много кое-что. Токое оно было детство, и всю жизнь оно ущемляет мое сердце!*

Быть кем-то означает здесь делать конкретную работу. Экстракт «школы жизни» представлен перечнем поставляемых ею трудных заданий, присутствие которых в жизни героя не мотивируется именно потому, что должно приниматься и выполняться, а не обдумываться. Вопросом, почему жизнь так устроена, П. П. Чешуин задается крайне редко. Зимой 1939–1940 гг. подросток работает «на бораке Дресвянка»:

*Тесали болванку из березы или как ее называют ложа для винтовки.*

*Тесоки вставали утром рано, уходили в тойгу, в мою обязанность в ходило, вставать на два часа позже, находить этих тесаков и от них стаскивать эту проклятую болванку, в один большой склад. Уминя были лыжи обшитые шкурой, вперед катятся, а назад нет.*

*Токим образам, я накладывал на свои нарты шесть болванок и тощил на общий склад, – каждого тесока я находил по стуку топора и там где горит костер! Это был тяжелый труд, по ровному месту еще хорошо, а вот как в гору приходится перетаскивать по одной, я должен был за один день вытоскать сто штук каждая болванка вытесаная из сырой березы весила двадцать килограмм, эту работу я сицтал так, – за какие грехи миня бог наказывает, и выхода из этого я ненаходил, возрощаясь вечером в этот проклятый барак, снимал с себя одеженку вешал в сушилку, чтобы она просохла до следующего дня, потом ужинал и залазил на вторые нары.*

*Конечно не в мягкою постел, а просто накиданную солому – засыпал крепким сном. – Так каждый день всю зиму, – это был изнурительный труд.*

Вопрошание в духе «за что мне это, Господи» и отсутствие дальнейших рефлексивных попыток свидетельствуют о том, что при всем внешнем тяготении к беллетристической форме текст генерируется в логике не литературы, но словесности, если следовать различению С. С. Аверинцева [1]. Автор удовлетворяется объяснением такого рода:

*Мне некто нечево неплотил, восновном я сосвоей задачей спровлялся и хорошо кушал, вот и все.*

Но работа в бригаде актуализирует еще один жизненный резон: хорошо выполняемый труд может не только обеспечить минимальным набором благ

---

<sup>4</sup> Существенно, что в одном случае исполняемая «профессия» приводит к именованию автором себя по принципу имени собственного: «Так и проработал всю зиму до самой весны, Тесаком!».

(дающих возможность не голодать и быть одетым-обутым), но и давать статусный профит:

*За день каждому тесаку была уstonовлена норма, вытесать семь штук, я вытесывал до десяти штук в день и уже считался как хороший рабочий специалист, называли меня «Стахановец»...*

*В этом бораке находилась отдельная комната, для стаановцев, вот в ней я и находился, в этой комнате на каждого был отдельный топчан с соломенным матрасом и соломенной подушкой, байковое одеяло.*

*Посреди комнаты стоял общий стол для принятия пищи, и железная печка... В общем помещении этого не было нужно было идти за чаем, што в столовую через холодную дверь. А это было неприятно, как я думал тогда, что значит быть стахановцем, в шестнадцать лет. Этим я еще и гордился.*

*Так и проработал всю зиму до самой весны, Тесаком!*

Ответ на вопрос о сущности прожитой жизни предстает в плоскости постепенного приближения (пространственного) к месту, в котором следует быть. Коммунистические преобразования «человеческой материи» в СССР 1920–1930-х гг. происходили на фоне номадизации миллионов людей и инверсирования *Дома* во фрагментированное, хаотизированное, разомкнутое, незащищенное и по сути *чужое* пространство. Логика этой инверсии хорошо прослеживается в автобиографии П. П. Чешуина. Исходное благополучие, которое навсегда нарушается созданием колхоза в родной деревне (характерно полное отсутствие упоминаний ее названия), описывается через использование развернутого образа дома:

*Дом у нас был хороший, кругом обнесен забором, в ограде стояло четыре пихты, осенью я собирал сних шишки для игрушек, десять ульев пчел, сораи, пригон, для коровы и лошадки, в сорае находилось сельскохозяйственный инвентарь, вот и все хозяйство.*

Дальнейший текст представляет последовательную регрессию *Дома*, дробящегося на серию эрзацев: «охотничья избушка в тойге», «стойбище», «временка» в деревне Женихово, «борак» для лесорубов, «домик в плывущей деревне», «какая-то баня» (она же «временная хата»), наконец, «улица», на которой тоже, оказывается, можно жить, пока тепло. Характерно, что уже третий переезд семьи четко обозначен как привычное, хотя и вынужденное, бродяжничество. Отсюда образ цыганской кибитки (отцу пришлось приспособить обычную крестьянскую телегу к частым переездам, в результате у нее появилась «крыша»). Самый «*первый путь*» предстает как абсолютно мифологическая ситуация выпадения в пространство Хаоса.

Вспоминая детство как постоянный, временами изнурительный труд («мое трудовое детство»), пожилой П. П. Чешуин не обнаруживает ни тени недовольства судьбой, озлобленности на власть и т. п. – это действительно добрый и мудрый человек, который вынес из долгой жизни свой главный урок и делится им в своем тексте. К формулированию этого главного урока он идет постепенно, через разбросанные по тексту резюмирующие фразы:

*Сейчас я вспоминаю что это для миня было: – школа перевоспитания, или наказаня, я был вощикам сам грузил, сам возил, на соломе спал, нечево не знал.*



Тема города начинает звучать в автобиографии задолго до рассказа о том, как семья перебирается в Прокопьевск, но не прямо, а в неких косвенных отражениях. Город трактуется как место с иным порядком жизни и как закономерный финал скитаний героя. При этом он вовсе не объект желания, но жизненная неизбежность, принимаемая просто, без пафоса. О себе – четырнадцатилетнем подростке, работающем в тайге, П. П. Чешуин пишет как о человеке, не подозревавшем о существовании другой жизни, не деревенской и не скитальческой:

*Я в то время так и думал что жизнь так и устроена, где были деньги, где было что купить я об этом понятия не имел что дает тебе отец, то и носи, неспрашивай, а что спрашивать, я неимел понятия где это все берется.*

Далее он отзывается о жизни в алтайской деревне Женихово, и в этом фрагменте хронотоп Города имеет уже более вещественное наполнение, хотя по существу речь идет все о том же:

*Да и в деревне этой, было несладко. В могозин не привозили пости ничего, товаров, обуви, нужно это было все ехать в город и приобретать. Это очень далеко!*

Еще одна зима в Женихово вводит его в отчаяние, но город уже не понимается как недостижимое место:

*Зима миня в этот раз застала в токой неразберихе, если в деревне Женихово я ловил зайчиков, то здесь на золотых приисках я сидел и пек картошку. Уминя небыло лыж, уминя небыло проволоки для петель, за этим нужно было ехать в город. И нужны были деньги, а не боны!*

Наконец, незадолго до финала автобиографии излагается мораль, завершающая сюжетостроение. Номадические эволюции кончаются обретением нового географического и социального места. Энергия повествования иссякает, ибо, в логике этого текста, повествование возможно только как метафоризация пути:

*Как мне потом рассказал отец – жизнь складывалась в плохую сторону, необходимо было и покинуть этот хутор (деревню Томь-Чумыш. – И. Б.), чтобы тут достать кое-какие продукты нужно было поехать в город, – а это двадцать пять километров, была корова, давала молоко, что нанее был наложен налог, хоть сам не еш, а масло здай! Так пришлось отцу покинуть и этот хутор, переехать на основную базу – Каро-Чумыш в пятнадцати километрах от города Прокопьевска. Хутор Том-Чумыш был приписан Алтайского края, а село Каро-чумыш был приписан к городу Прокопьевска. Да: тут можно сказать ездили по деревням многие годы, – а к городу двигались очень медленно...*

Главным двигателем сюжета в автобиографии становится хронотоп Пути. Именно он – нерв жизненной истории. Характерно, что как только перемещения героя в пространстве прекращаются, заканчивается и рассказ. По сути, его жизнь локализуется не в Доме и не в Городе, а в разрыве между ними – в Пути, полном испытаний. В 1970-е гг. И. Кемени интерпретировал представителей нового (восточноевропейского) рабочего класса как «массу в пути» (mass on the road) [8]. Хронотоп Пути является системообразующим

для посткрестьянской автобиографии, в которой разворачивается работа структурирования индивидуальной памяти рассказчика.

Имеется интересное свидетельство о роли метафоры пути в автобиографических нарративах «советских идеалистов» начала 1930-х гг. рождения, т. е. принадлежавших к тому же поколению, что П. П. Чешуин и Е. С. Попова, и живших в том же календарном, но совершенно ином историческом времени. Образ пути стал ключевым в дневнике московской девушки Киры Мансуровой [5], причем топонимический путь решается ею в стилистике мифоидеологии: путь – это телеологически заданное движение к коммунизму, описанное с использованием устойчивой культурной символики. Путь же в воспоминаниях посткрестьянина подается в чисто фольклорном ключе. Историзм мышления юных советских интеллигентов нерелевантен посткрестьянской памяти. В последней социальный активизм (вынужденный) переживается не как поведенческая рамка большой идейной работы над собой, но как порядок вещей, принятие которого открывает возможность более спокойной, что значит – незаметной жизни. Впрочем, необходимо делать поправку на различие жанров (дневник в первом случае и воспоминание во втором).

Итоговая «правда жизни» формулируется автором в специально выделенном фрагменте текста, имеющем подзаголовок «Мой наказ отцу». Так в автобиографии крестьянского сына Петра Чешуина репрезентируется новый для его исходной социальной группы опыт. Пройденный к 25 годам жизненный путь (усиленный великой инициацией – войной) дал ему моральное право выступать в новой роли по отношению к собственному отцу, фактически в роли «отца собственного отца». И если эта диспозиция обозначается символически, то статус молодого мужчины по отношению к младшим братьям и сестрам подан как фактически отцовский. Это очевидно по дидактике фрагмента «Мой наказ отцу»:

*... Я сказал отцу – сестренки и бротишки уже большие им нужна работа, и учеба, здесь ее в этой каре нет, и жить здесь с такой семьей трудно бросай все и переезжай в город теперь тебе добратся до города осталось не далеко, – вот это был мой наказ перед проводами, при возвращении из отпуска, вскором времени я получил письмо, отец писал, – переехал в город, ждем тебя возвращения не в деревню, а в город.*

Вспомним, что выше автор резюмировал свою жизненную «школу горючего испытания» как особый опыт, который нельзя получить за школьной партией. С этим опытом (достаточным для себя) он и остается. Но младшие – другое дело:

*... отец считал и отсидя давал оценку по своему.*

*– учится, необезательно,*

*– можно неграмотному жить,*

*– бог всему поможет.*

*... Однако не бог не черт не помогал, в этом хуторе школы не было: – сестренкам и бротишкам нужно было хоть какое нибудь получить образование и это довалось с большим трудом, кроме двух или трех классов сель-*

ской школы, я уже получил семилетнее образование по отечественной войны в вечерней школе, всеровно программа уже не та.

Именно в этой позиции, ломающей традиционные семейно-ролевые деления крестьянской социальности, находит отражение то, что Х. Ортега-и-Гассет считал глубинной сутью понятия *поколение* – «новое жизненное восприятие» [3, с. 62].

Крестьяне Советской России, выброшенные в ситуацию *Пути*, утрачивали свой габитус, основой которого являлась земледельческая привязанность, – так «самый неподвижный, самый консервативный класс» (Ф. Энгельс) был ввергнут в пространство истории и письма. В автобиографиях крестьян, ставших городскими жителями (*посткрестьян*), вырабатывались техники рефлексивной сборки жизненного опыта и придания фундаментальной осмысленности жизни, которая была прожита в эпоху обесмысливания традиционных оснований крестьянского бытия. Поколенческий «разрыв» идентичности компенсировался средствами нарративной «ратификации». При этом автобиографическое изображение идентичности связано с перформативным ее производством. В итоге автобиография играет «роль медиума самопрезентации и способа подчинения/присвоения прошлого себе» [6]. Хронотопы *Дома/Деревни/Детства*, *Пути* и *Испытания* становились инструментами смысловой организации опыта в связность жизненного текста и способом производства смыслов, актуальных для людей поколения П. П. Чешуина.

Где пролегает граница между содержанием и формой коллективной памяти, с одной стороны, и индивидуальной памяти, с другой? Это ключевой вопрос теорий, изучающих процедуры меморизации, и ответ на него требует тонкой работы с языком, символом, сюжетостроением, природой образа и т. п. В определенном смысле любая коллективная память социальна, ибо опирается на жизненный опыт какой-то группы, существовавшей или существующей в пространстве и времени, что отмечал уже основоположник теории коллективной памяти М. Хальбвакс. Индивидуальная память также является социальной, что стало общим местом социально-конструктивистских теорий. Я. Ассманом был предложен термин *фигуры воспоминания*, означающий «размещенность» припоминаемого в определенном пространстве и времени (в том числе и символических пространстве и времени), что создает точки кристаллизации памяти и референциальные рамки памяти [2, с. 39–40]. Вопрос о том, могут ли выявленные на материале данного кейса хронотопы быть отнесены к *фигурам воспоминания*, требует их проверки «на коллективность» путем анализа сопоставимых текстов автобиографического характера.

Каков основной урок, преподносимый этой автобиографией читателю? Правда жизни. Это, собственно, сказано уже на первой странице текста:

*То детство которое может быть дас урок, пусть хоть и нетак будет написано, но это правда.*

Пространство правды – вот что формирует автор в процессе написания воспоминаний. Правда эта внеисторична. У П. П. Чешуина космос «большой истории» лишь смутно угадывается за осязаемой плотностью повседневного

бытия. История иногда рвет эту грубую житейскую ткань, и все же ее вторжения не подвергаются осмыслению, хотя, казалось бы, самим своим масштабом должны к этому подвигать (коллективизация, Великая Отечественная война). «Большая история» абсолютно не в фокусе этого жизненного мира. Но что же «в кадре»? Добытая истина: жить надо не так, как жили отцы. Жить надо в городе.

И все же эта правда не так уж радикально отличается от правды поколения отцов. Мы видим все ту же преданность жизненного пути, которая равно не проблематизируется ни «крестьянским», ни «посткрестьянским» сознанием. Оба работают в парадигме судьбы, а не исторического выбора, реализуемого в социальном активизме (последнее характерно для первых поколений советских интеллигентов, а не для посткрестьян). Причины пространственных перемещений семьи не делаются предметом понимания ни отца, ни сына, оставаясь *долей*. Жизнь – плотный континуум дел, поставляемых долей. Смысл жизни – путем выполнения этих дел добывать пропитание и ускользать от того громадного, внешнего, заведомо угрожающего, о котором говорится так:

*...да человек редко чувствует себя счастливым, откуда-то из-за спины, от самого сердца, нет да и отзовется что-то новое – которое ты не ожидаешь.*

Посткрестьяне остаются такими же неисторическими людьми, как и поколение их родителей, воспроизводя в новых социальных условиях традиционную роль подданных, а не граждан [5]. Это одна из тех экзистенциальных валентностей, для которой современное крестьяноведение, утверждая логику понимания посткрестьянского опыта не только как отличного от крестьянского, но и органичного ему, все еще ищет название.

1. *Аверинцев С. С.* Риторика и истоки европейской культурной традиции / С. С. Аверинцев. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 448 с.

2. *Ассман Я.* Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – М., 2004.

3. *Ортега-и-Гассет Х.* Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.

4. *Рецикова И. П.* Дом и Путь как нарративные модели конструирования истории жизни алтайского крестьянина (1930-е годы) [Электронный ресурс] // Сибирский субэтнос: культура, традиции, ментальность : материалы III Всерос. науч.-практ. интернет-конференции на сайте sib-subethnos.narod.ru (15 мая – 15 октября 2007 г.). – URL: <http://www.culturalnet.ru/main/person/998>.

5. *Рожанский М.* Дневник советской девушки // Интер. – 2007. – № 4. – С. 55–70.

6. *Рожественская Е.* Нарративная идентичность как продукт автобиографического рассказа в интервью [Электронный ресурс] // НИУ ВШЭ. – URL: [hse.ru/data/2010/04/02/1218246790/rojd.doc](http://hse.ru/data/2010/04/02/1218246790/rojd.doc) (дата обращения: 23.05.2013).

7. *Согомонов А.* Биографический проект между вниманием и напряжением [Электронный ресурс] // Художеств. журн. – 2002. – № 45. – URL: <http://xz.gif.ru/numbers/45/sogomonov/> (дата обращения: 18.06.2013).

8. *Ladanyi J.* Market, state and informal networks in the growth of private housing in Hungary [Электронный ресурс] // Technische universitat Dortmund. Fakultat Raumplanung. – URL: [http://www.raumplanung.tudortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom/external/WS\\_Budapest\\_November\\_2006/Ladanyi.pdf](http://www.raumplanung.tudortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom/external/WS_Budapest_November_2006/Ladanyi.pdf) (дата обращения: 16.06.2013).

## The Chronotopes of Post-Peasant's Autobiography

I. P. Basalaeva

*Regional Branch-Institute of Kemerovo State University,  
Novokuznetsk*

The article analyzes the narrative samples of the construction of postpeasant autobiography, including the cliches of official Soviet autobiography, fairy tale and educational novel.

**Key words:** autobiography, post-peasants, narrative, social history.

*Басалаева Ирина Петровна – кандидат философских наук, доцент кафедры истории Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета, 654041, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 23, тел. 89059939511, e-mail: isapan@yandex.ru*

*Basalayeva Irina Petrovna – Candidate of Phylosophycal Sciences, Associate Professor of the History Department, the Regional Branch-Institute of Kemerovo State University, 654041, Novokuznetsk, Tsiolkovskogo St., 23, phone 89059939511, e-mail: isapan@yandex.ru*